

ЕГО ГЛАВНАЯ ЛЮБОВЬ
ЕГО ГЛАВНАЯ ЛЮБОВЬ
ЕГО ГЛАВНАЯ ЛЮБОВЬ
ЕГО ГЛАВНАЯ ЛЮБОВЬ
ЕГО ГЛАВНАЯ ЛЮБОВЬ
ЕГО ГЛАВНАЯ ЛЮБОВЬ



5

12-Досбе. - 1993. - 25-6.5

Маяковский был влюблен в... революцию. Эротически. Как мужчина. Вполне реально.

А

В.ТУРБИН

Беатриче и Клеопатра, или Два лика революции

Влюбленность поэта подлежит литературно-критическому анализу: как и всякое «я», «я» поэта неминуемо без «другого»; и мы вправе знать постоянного собеседника, к которому обращено его слово. А «другой» для поэта — та, которой предназначено было стать предметом его любви. В устремленности к ней поэзия открывается как повседневное рыцарское служение, как преодоление всевозможных преград и препятствий; здесь-то и прорисовываются жанры, формируется стиль, складываются образы.

Данте и Беатриче, Петрарка — Лаура, Вознесенский — Оза (я нисколько не иронизирую, я всего лишь выделяю закономерность, а она на то и закономерность, чтобы проходить и через откровения Данте, и через выкрики Вознесенского).

У Тургенева — Полина Виардо.

У Лермонтова! Тут Ираклий Андроников искал да искал, окончательного ничего не нашел, хотя был он на верном пути: хочешь знать поэта — ищи ту, которую он любил.

Кто была Беатриче Владимира Маяковского!



ТО БИОГРАФОВ самого различного толка назовут одно имя и еще два-три имени. А откуда-то из-за океана всплывет новоиспеченная... дочь Маяковского, и уж Бог ее знает, дочь она или нет. Пойдет в ход перебивание косточек: брак

вторым, унижения, дрессировка поэта, напечатаются подробности. Идеология умножается на эротику: скучно. И, по моему, самым пишущим тоже скучно: Беатриче остается найденной. А она у всех на виду. Маяковский был влюблен в... революцию. Эротически. Как мужчина. Вполне реально. Для нее он старался нарядиться в плащ Мефистофеля: из всех способов очаровать любимую женщину и по крайней мере привлечь ее снисходительное внимание самый верный, веками проверенный — демонизм, уж это нам, мужчинам, известно.

Маяковский был влюблен в революцию. В поисках ее благосклонности он слагал ей стихи, пел в поставленных ею операх: они ставились не на сцене, а в жизни. Для нее недосыпал, рисуя плакаты, «Окна РОСТА». Ее славил, трубадуром странствуя по Европе.

Полагаю, что явление здесь — по преимуществу русское: влюбиться в идею, а затем и в порожденные возлюбленной идеей события. И явление это, вероятно, надо принимать таким, каково оно есть, не усматривая в нем ни, Боже упаси, извращения, ни фанатизма. Нет, здесь просто доведенная до предела мечтательность, вовсе не одному Маяковскому свойственная, хотя именно у него дошедшая до вполне очевидного выражения.

Весь серебряный век протекает под знаком влюбленности. Громкогласно влюблялись в реальных женщин; но была и некая сверхвлюбленность — в божество, в апокалипсическую Жену, облаченную в Солнце. Ею грезил, пришестья ее ждали, встречи с нею искали.

Частный случай подобной влюбленности — Блок, поэт прославленной им Прекрасной Дамы.

И мнилась мне Российская Венера,
Тяжелую тунику повита,
Бесстрастна в чистоте,
нерадостна без меры,
В чертах лица — спокойная мечта.

Она сошла на землю не впервые,
Но вокруг нее толпятся в первый раз
Богатыри не те, и витязи иные...
И страшен блеск ее глубоких глаз...

Как известно, селенический, лунный образ драматически эволюционировал. Появилась ресторанный Незнакомка, а Октябрьская социалистическая революция подарила миру «Двенадцать» с питейской потаскушкой Катей — неожиданной модификацией Российской Венеры.

Но рядом с Прекрасной Дамой в творчестве Блока — Русь:

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!

Если Русь может быть женой одного поэта, почему бы Революции не сделаться то ли невестой, то ли женой другого (вспомним, что еще в 60-е годы XIX столетия в романе Чернышевского «Что делать?» революцию как раз и называли Невестой).

«Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня... не было. М о я революция» («Я сам»). Подобное признание еще можно принять за идеологическую декларацию. Но как понимать порыв: дать бы Революции название, «как любимым в первый день дают»?

Историческая октябрьская ночь 1917 года — что-то вроде брачной ночи поэта Владимира Маяковского. Так бывает: «она» явилась, долгожданная, желанная. И — любовь. Как будто бы, с первого взгляда, а на деле — долго, страстно и нетерпеливо ожидавшая дня и часа «ее» появления.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты...

Явилась Маяковскому Революция, и теперь она — прямо-таки его... новобрачная. Ей-то — все.

Чье сердце
октябрьскими бурями вымыто,
тому ни закат,
ни моря революции,

тому ничего,
ни красот,
ни климатов,
не надо —
кроме тебя,
Революция!

(«Нордерей»)

Представим себе, что Революция — имя собственное: живет где-то девушка, привлекательная и, как теперь говорят, сексапильная. И зовут ее Революция, уменьшительно — Рева или же Люца. Что тогда? Тогда путевая зарисовка поэта — экзотический мадригал, построенный на тысячекратно повторявшейся и вечно животрепещущей схеме: «Ничего мне не надо, кроме тебя!» Беспощаден диктат всежигающей страсти, покоряющей и свободной.

Как, однако, ни толкуй о свободной любви, а ее идеалом навеки пребудет брак. Маяковский — неустроенный, кочующий, собственного дома, в общем-то, не имевший — откровенно, хотя и в какой-то причудливой форме помышляет о семье, о жене.

Если б был я
Вандомская колонна,
я б женился
на Place de la Concorde.

Ситуация, мягко сказать, престранная: башня женится, возлежит на брачном ложе, рука об руку шагает по жизни с... площадью. До такой фантазмагии надо додуматься. Доскитаться. Но поэт — не Вандомская колонна, на площади. Согласия он не женится, он и так вполне счастлив: у него есть семья, и советские дети должны с его слов распевать:

Моя большая мама —
республика моя.

И:

У нас большой папаша —
стальной рабочий класс.

Семья полностью укомплектована: республика — материализованная революция, большой папа — класс-гегемон. А кто Ленин в этой семье?

Ленин — тесть. Уважаемый. Чтимый. Такой, с которым почтительный зять делится горем и радостями и который журит молодого зятя за некоторую непутевость, снисходительно похлопывая его по плечу — так отчески пожурил и по головке погладил Ленин Маяковского за «Прозаседавшихся».

Я
себя
под Лениным чищу,
чтобы плыть
в революцию дальше, —

благоговейно исповедовался поэт.

Ленин в творческом сознании Маяковского — несомненный прямой литературный наследник песенного, фольклорного «тестя-батюшки», персонаж пословицы: «Зятек тестюшку ублажает». Ублажал Маяковский его при жизни, а поэма о нем — грандиозный, по-сыновьи интимный надгробный плач, эпитафия, многословие которой оправдывается бесконечной любовью к нему, понуждающей излагать его биографию, его учение, воспроизводить его словечки, рисовать его внешний облик.

А жена-революция? Маяковский и в самом деле отдал ей всю свою звонкую силу, и он мог бы сказать вслед за Блоком: «Нам ясен долгий путь». О, жены! Европейские, азиатские, африканские! Русские, французские, шведские, все и всякие жены, вам бы таких мужей! Потому что муж Маяковский верен жене до гроба, без преувеличений — до последнего вздоха верен. Совершенно прав он, твердя, что теперешняя любовь, его любовь — «пограндиознее онегинской любви». В вечном царстве революции

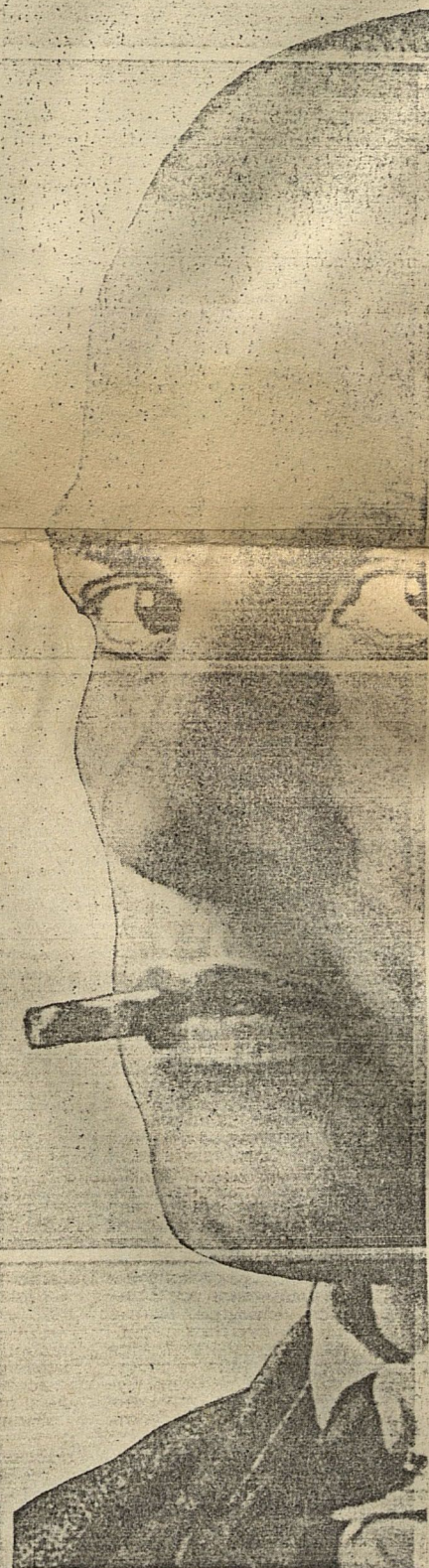
любить можно только крупномасштабно, размашисто, ревнуя не менее, чем к Копернику,

его,
а не мужа Марьи Ивановны,
считая
своим
соперником.

Но Коперника поблизости не было, а были поэты, которые тоже порывались служить революции, прославляя ее. Маяковский отбрасывает их одного за другим. Пародирует. Компрометирует. Впрочем, иногда назидает, выражая желание видеть у ног революции больше поэтов, хороших и разных.

Все, что делает, переживает, претерпевает и говорит революция — хо-ро-шо! И: «Не по хорошу мил, а по милу хорош», — любимая, кстати сказать, пословица

Окончание на 15-й стр.



* Фрагмент. Полностью статья будет напечатана в журнале «Дружба народов»



Обескровив поэта, поморочив его перспективой развития в изначально избранном ею духе и направлении, опустошив его, революция от него отворачивалась. И поэт сделал то, что делают отвергнутые влюбленные.

А

Окончание. Начало на 5-й стр.

Бахтина, открывающая, по мысли его, путь к творчеству Гоголя; не за то любил писатель Россию, что она хороша, а он видел ее хорошей потому, что любил ее в той же мере, что и каждого из своих героев, непутевых и опустившихся. Так же складывались и отношения Маяковского с его Беатриче — с Великой Октябрьской социалистической революцией.

Революция — все свои силы. На нормальную, что ли, на обычную любовь их уже и не оставалось. И сколько бы он ни наяривал себя и ни мистифицировал нас, уверяя, что он любит реальную женщину, единственная его любовь догоняла его, душила. Поэмы «Люблю» и «Про это» — о чем? О любви к женщине, совершенно конкретной, поименованной, с указанием ее местожительства? Да о революции это все! О ней, о единственной, о Жене, облаченной в Солнце, песни слагает поэт. Она в солнце облачена, ибо «вечно будет ленинское сердце клочкотать у революции в груди».

Чем же отвечала поэту его возлюбленная?

Для поэтики Маяковского характерен прием не просто персонализации, а феминизации отвлеченных понятий: он, к примеру, уходит на фронт от «поэзии — бабы капризной». Поэзия — баба, которой он не хочет служить: капризничает она. Но и революция капризничала почти все время распушенных и избалованных баб. Капризы ее поэта не могли не терзать, не мучать, а в конце-то концов и добить.

Маяковский отвергал надуманную догадку литературоведа Льва Войтоловского о том, что в «Египетских ночах» Пушкина под ложем Клеопатры подразумевается... Сенатская площадь, а «первые смертельные поцелуи русской свободы» превращены Пушкиным в «поцелуи любви, оплаченной смертью». Не напрасно ли отвергал? Да, конечно, аналогии эротичности и революции в данном случае получились грубой натяжкой, но вообще-то они вполне допустимы, а уж к Маяковскому они применимы вполне: революция поступила с ним точно так же, как сластолюбивая египетская царица Клеопатра поступила со своими любовниками: она дарит каждому из них благорасположение, но за это их ожидает смерть. Полюбила — убила: капризнейшая дама правила когда-то Египтом. Но, пожалуй, дама, правившая нашей страной, превзошла и самое Клеопатру.

С Маяковским происходило то же, что за десять—пятнадцать лет до его конца произошло с Александром Блоком: лунный образ, недостижимый идеал превращался в Катюшу:

С юнкерем гулять ходила,
С солдатом теперь пошла?
Эх, эх, согреси!
Будет легче для души!

Революция проституировалась: отказалась от намерений перерастать в мировую, учиняла скандальные процессы, истязала трудящихся индустриализацией, а затем и коллективизацией. Изпод наспех сколоченных, словно бы оперных декораций все явственнее проступала реальность. Да к тому же теперь декорации требовалось малевать в архаичном, в классическом стиле. А попробуй-ка исхитриться объяснить необъяснимое сочетание: истребляется

крестьянство, наиболее архаический слой населения, хотя в то же время архаика директивно ложится в основу социальной эстетики.

«Революция — великая пожирательница человеческой энергии, индивидуальной, как и коллективной», — писал Троцкий. Резонно писал. Снисходительно одарив Маяковского близостью, революция покидала его. В роковом для поэта 1927 году вышла брошюра Георгия Шенгели «Маяковский во весь рост»; и о Маяковском было там сказано: «Бедный идеями, обладающий суженным кругозором, ипохондричный, невравстический, слабый мастер, — он вне всяких сомнений стоит ниже своей эпохи, и эпоха отвернется от него». Что-то критиком было угадано верно, благо к тому же обошлось без мистических озарений.

Обескровив поэта, поморочив его перспективой развития в изначально избранном ею духе и направлении, опустошив его, революция от него отворачивалась. И поэт сделал то, что делают отвергнутые влюбленные.

Маяковский принял на себя груз революции, в то же время выдав ее главную тайну: непосредственную, жесткую связь бутафории с атеистической организацией общества. Бутафорию он запечатлевал в бутафорских же по преимуществу формах:

Когда
под пулями
от нас буржуи бегали,
как мы
когда-то
бегали от них,

— словно бы нарисовано в его последней поэме; и неужели не видно, что это — мультипликация? Бегут толстозадые буржуи в смокингах и в цилиндрах, а от них, высоко поднимая ноги, улепетывают красноармейцы в буденовках и в обмотках; а потом наоборот, от красноармейцев рысцою бегут буржуи.

«Хорошо!» Маяковского — революция, не столько, по Луначарскому, отлитая в бронзу, сколько запечатленная даровитым художником-мультипликатором. «Хорошо!» — наполовину мультипликация: петроградский октябрь 1917 года — ветхозаветный потоп; кто-то с топотом врывается в зал заседаний Временного правительства. После — партия, матушка революции, стало быть, Маяковскому теще, как положено распорядительной теще, как прибирает к рукам политическую неразбериху. Отношения Маяковского с РКП(б) тоже пословицами предостережены: «У тещи зятек любимый сынок... У тещи карманы тощи... Зятек с тещею говорит день до вечера, а послушать нечего».

А «Владимир Ильич Ленин»? Тоже мультипликация, панорама на темы исторического материализма: бородатый Маркс хватается за руку похитителей прибавочной стоимости, а на Волге-реке родился гениальный младенец, и ему-то суждено крестить Русь в новую веру. Бутафория мультипликации по контрасту монтируется со вставками документальных кадров: когда смотришь сейчас раскрасочные ленты похорон Ленина, будто заново перечитываешь поэму-некролог. Реальные траурные лики, все подлинно. Но вдруг — снова мультипликация: плачущий большевик, на которого глаза любопытствующие обыватели-ротозеи.

Безработные, прыгающие один за другим с моста, — несомненная мультипликация («Бруклинский мост»).

«Пишу киносценарии... Рисую для кино плакаты». Но сие-то и есть мультипликация, как и все «Окна РОСТА». Так — с начала революции и до смертного выстрела: революция как комедия — в вышнем, разумеется, смысле этого слова. Человеческая комедия. Или: божественная?

Беатриче и Клеопатра, два лика или революции

Коллаж Ю. МИХАЙЛОВА

Маяковский и Данте, я не побоялся бы этой темы.

Оппоненты Маяковского: их множество.

Всех умнее, тактичнее и глубже, полагаю, — Андрей Платонов. «Котлован» напрямую соотносим с такими произведениями, как «Рассказ Хренова о Кузнецком строении и о людях Кузнецка». Не дает мне покоя догадка, что влюбленный в Розу Люксембург герой «Чевенгура», развешивавший по степи на коне «Пролетарская сила» — Маяковский, оседлавший Пегаса. У Платонова и у Маяковского — однородное влечение к «философии общего дела» Федорова.

«Маяковский издевается», так называлась одна из книжек. А Платонов? Издевается над Маяковским, но как? И умно, и тактично, и с огромною внутренней болью. Нам подобного уровня литературной полемики достичь не дано: разучились русские писатели друг с другом полемизировать, да и критика разучилась полемизировать с ними.

...Маяковский — хороший. Или плохой? Я не знаю. Знаю только, что он — откровенный: все, что он угадал, увидел, прозрел в социалистической революции, — показал, во всеуслышанье выкрикнул.

Он актерствовал, изображая из себя всепознавшего Мефистофеля. Она тоже актерствовала, убеждая себя и весь мир, что и жизнь под ее покровительством хороша, и жить стал народ раскрепосно.

Он ломал традиции, заменяя подлинность бутафорией. Но и она их ломала, возводя одно за другим бутафорские сооружения, завершившиеся Чернобыльской АЭС. И добро, что хотя бы Дворца Советов возвести не удалось, потому что при всей материальной массивности этого капища и при всей железобетонной его несомненности это было бы величайшее из бутафорских сооружений, в доказательство подлинности которого оставалось бы только с высоты его прыгать. И уж то-то напрыгались бы!

Но зато Маяковский любил. Любил то, любил ту, кого, в сущности, никто не любил, ее просто использовали как инструмент публичную женщину. Помыкали ею; не туда, мол, ступила, не так пошла. То сгибали, то выпрямляли ее,

придавая ей невообразимые очертания: так когда-то в Китае годами выращивали младенцев в кувшинах, а потом расколюпывали кувшин и с восторгом глазели на выращенную диковину. То вперед ее гнали, то вспять поворачивали. Урывали от нее всевозможные житейские блага. Либералы же брезгливо отворачивались, отмежевывались: к этой твари мы ни малейшего отношения не имеем!

Маяковский же революцию — просто любил. И не мог он пережить перерождения своей Беатриче в сластолюбивую Клеопатру. Стихотворные фельетоны поэта 1927—1930 годов двенадцатилетней: все они — свидетельство начинающегося прозрения; млеет партпомпадур на целебном солнышке, а где-то на противоположном конце державы

сидят
в грязи
рабочие,
сидят,
лучину жгут.

Справедливо? Несправедливо: точно так же в 1914 году обжирались буржуи, не желая ведать об искалеченном Петрове поручике. Но быть может, революцию все-таки еще можно очистить? Маяковский был чистоплотен во всем: верил он и в социально-гигиеническое могущество слова.

Маяковский пожертвовал революции всем: реальной семьей, простой, с тещей, как от века заведено у добрых людей. Мужской силой: быть возлюбленным революции я не пробовал, но, наверно, Клеопатра в сравнении с нею — невинная гимназисточка. Проведи в объятиях этой бабы капризной ночь-другую — ничего в тебе не останется.

Маяковский любил революцию черненькой, а беленькой-то ее всякий бы полюбил. И неужто ему его чистая любовь где-то в горних мирах не зачтется?

